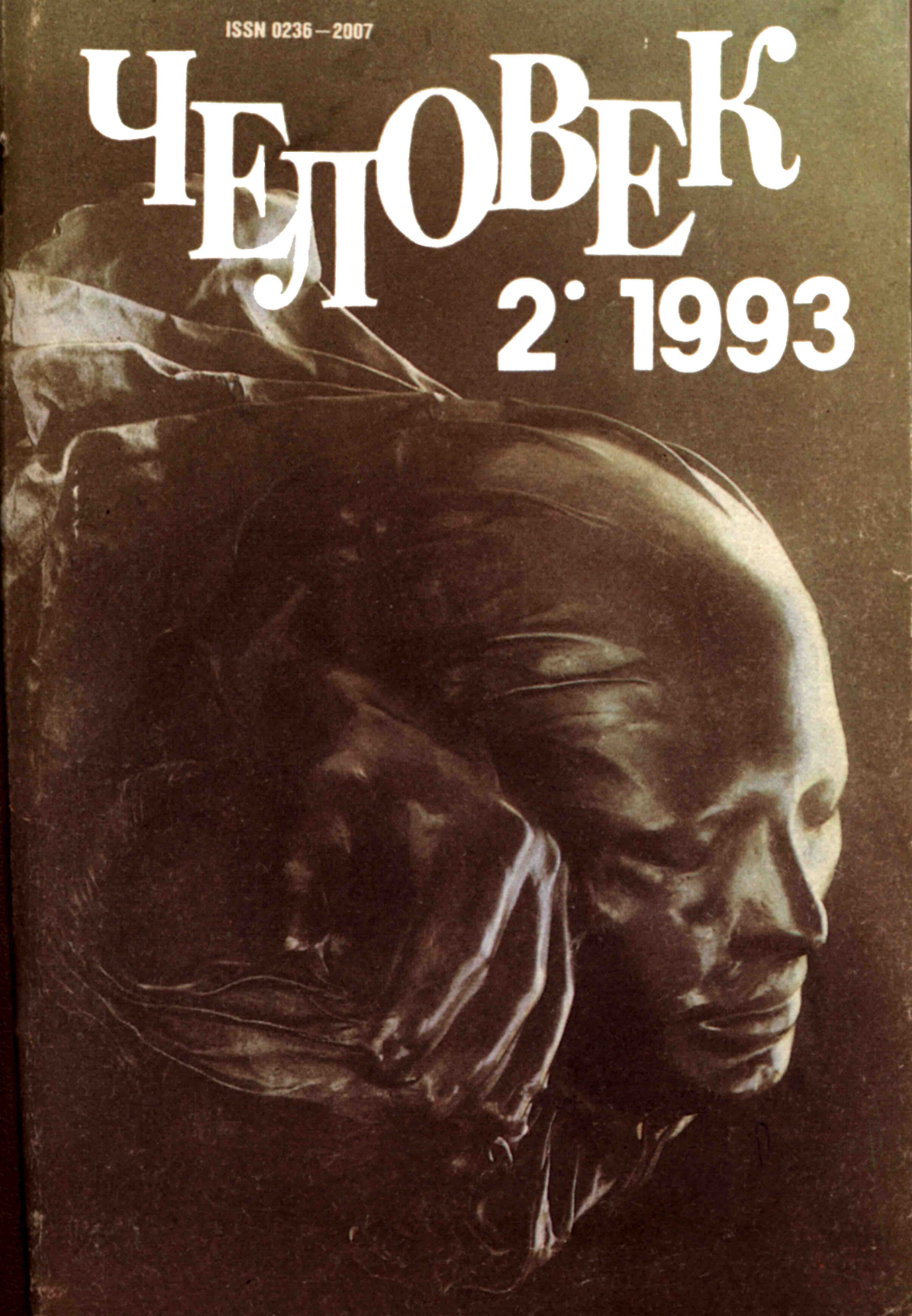
ISSN 0236—2007

ЧЕЛОВЕК

2 · 1993



ФОНОГРАФ

ИСТОРИИ ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО, РАССКАЗАННЫЕ ИМ САМИМ

Н. В. Тимофеев-Ресовский дома во время беседы. Обнинск. 1974 г.

В конце декабря 1992 года пришло известие о полной реабилитации Н. В. Тимофеева-Ресовского. Справедливость все-таки восторжествовала...

В шестом номере журнала за прошлый год мы закончили, как нам казалось, публикацию «Историй Тимофеева-Ресовского, рассказанных им самим». Готовя их к печати, мы сожалели, что Николай Владимирович так почти ничего и не успел рассказать о послевоенном периоде своей жизни. И очень не хотелось расставаться с этим удивительным человеком, который и сейчас, спустя 12 лет после смерти, «не отпускает» от себя тех, кто хоть однажды был вовлечен в его орбиту.

Мы начали собирать неопубликованные воспоминания о нем, и неожиданно нашлась еще одна пленка. Часть ее — воспоминания В. Д. Дувакина, трудами которого сохранены бесценные рассказы Н. В., часть — рассказ самого Н. В. как раз о том «пропущенном» времени.

Более того, удалось расшифровать и некоторые записи, сделанные в разных ситуациях и в беседах с разными людьми когда-то давно С. Э. Шнолем и хранящиеся в его архиве в г. Пущино. Из этих фрагментов и получилась еще одна «История...», несколько иная по форме. Начинает ее Виктор Дмитриевич Дувакин [1].

[1] В. Д. Дувакин (1909—1982 гг.) — старший научный сотрудник кафедры научной информации МГУ, кандидат филологических наук, организатор фонофонда МГУ.

В. Д. Дувакин. 28 марта 1981 года скончался Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Мы начали запись его воспоминаний 6 января 1974 года, т. е. мы работали с ним шесть лет. А в моей работе, в сущности говоря, он присутствовал уже около десяти лет. Один студент сказал мне, что среди лекторов, которых он слушал, совершенно особое место занимает Тимофеев-Ресовский. Позже в каком-то телефонном разговоре с Надеждой Васильевной Реформатской [2] выплыла фамилия Тимофеева-Ресовского. Я тут же ее попросил: а нельзя ли мне с ним познакомиться, и несколько раз к этой просьбе возвращался.

В то время, когда Петровский [3] просил меня записывать рассказы разных ученых, и физиков, и биологов, и других, особенно о Московском университете, и давал мне имена академиков и вообще крупных ученых, преимущественно математиков, я тогда еще фамилии его не знал. А вскоре после смерти Петровского я стал всех спрашивать: кто еще интересен? Много было названо фамилий, но вот фамилия Тимофеева-Ресовского очень мне запомнилась, потому что как-то так вышло, что в течение сравнительно короткого времени от многих людей я услышал, что есть такой замечательный человек и такой большой ученый. Тогда я еще раз обратился к Надежде Васильевне уже специально. И она ответила охлаждающе: «Его не трогайте, у него недавно умерла жена...» [4] Вот это, так сказать, время, с которого я уже в какой-то степени охотился за Тимофеевым-Ресовским. И, вместе с тем, боялся ему позвонить. Из разговоров с Реформатской у меня создалось впечатление, что это дряхлый старик, который сейчас вообще чуть живой, и мне надо успеть его записать. Поэтому когда, уже не помню при каких обстоятельствах, я один, без своей помощницы Марины Васильевны [5], приехал в Обнинск и разыскал эту улицу (теперь она называется улицей Лейпунского, а тогда она, по-моему, как-то иначе называлась [6]), забрался на третий этаж и попал в эту маленькую квартирку, и ко мне вышел очень громоздкий, большой человек, во всяком случае, мне он таким показался, то я как-то даже был немножко ошарашен. Помню, что его рукопожатие меня поразило: он очень крепко пожимал руку. Он не был толстяком, и не был особенно высок, но он был... крепкий такой, одним словом, человек в полном действии.

Я очень долго сидел в ту первую встречу. Приехал рано. День был снежный, сумрачный, и мы долго сидели, пока не стемнело, и еще долго, когда уже стемнело. Я старался ему объяснить, кто я и зачем я, хотя, конечно, что-то уже объяснял по телефону, но знаю только, что никакого представительства заранее у меня не было, когда уже разъяснено, кто приедет. Он не понимал долгое время, а что, собственно, мне от него надо. Понятнее было, что у меня в руках магнитофон.

Уже в начале разговора я задал вопрос, смысл которого был: «А за что Вы сидели?», который как-то поднял у него бровь: какого черта этому молодому человеку старых лет нужно это? Вместе с тем, он стал мне охотно рассказывать. Но, видя, что я включаю магнитофон, сказал: «Нет, нет, нет, Вы эту машинку уберите». Было ясно, что записывать историю его пребывания в местах не столь отдаленных он не хочет. А вместе с тем рассказывать ему было интересно, и он увлекся. И очень скоро увлекся. Хотя все, что он рассказывал, было очень страшно.

В первые часы мне было как-то не очень уютно. Сидели мы почти рядом за столом, у одного угла, так что я смотрел ему прямо в лицо, и он частично разговаривал со мной, частично отмахивался. Магнитофон был отставлен на стул. В ходе беседы он как-то помягчал и через какое-то время позволил мне магнитофон поставить поближе и продолжал разговаривать уже под магнитофон. Правда, это были уже менее тревожные места, но тоже все-таки не подлежащие широкому

[2] Надежда Васильевна Реформатская — друг семьи Тимофеевых-Ресовских.

[3] И. Г. Петровский — в то время ректор МГУ.

[4] Елена Александровна Тимофеева-Ресовская умерла в 1973 году.

[5] Марина Васильевна Радзишевская — сотрудник кафедры научной информации МГУ, проводившая вместе с В. Д. Дувакиным запись бесед и подготовившая к печати все «Истории».— Ред.

[6] Тогда эта улица называлась Солнечной.

оглашению. И где-то, то ли между какими-то кусками, то ли после, был подробный рассказ о его предках. Его он уже вел тоном рассказчика, причем стал расхаживать из угла в угол этой небольшой комнаты. И это повторялось потом много раз, так что у меня было впечатление, что он как зверь, как тигр, ходит. Так и другие вспоминают. Он не просто расхаживал, он вышагивал, хотя вышагивать, собственно, было негде. В сущности, небольшая комната.

В конце уже мы наметили, что будет во второй и третий раз и что будет четыре беседы. После четвертой потребовалось еще. Дальше постепенно пошли рассказы о работе. Я задавал вопросы какие-то, часто не очень продуманные, потому что все это мне было мало знакомо. Он, конечно, не мог рассказывать, не видя людей. Ну а глядя на нас, было видно, что мы мало понимаем. Поэтому он рассказывал временами популярно, временами более специально. И, рассказывая о той или иной стороне своей научной деятельности, какие-то беседы превращал уже в лекции для студентов или специальные доклады. В этом смысле его беседы были разного жанра. И он все время отводил в новые стороны. Но так как все было интересно, и так как я с самого начала понял, что это большой человек и что записать надо, по возможности, все, то я не брался им руководить. Он плыл так, как ему хотелось. А мы, приехав в очередной раз на последнюю запись... «да, ну, еще приедем...» А потом он: «Вот тут надо сказать три этапа» чего-то или «три стороны» какого-нибудь вопроса. И постепенно наши беседы разрастались, разрастались и разрастались. И, к сожалению, наша запись, несмотря на 23 беседы, все-таки осталась неоконченной и неполной.

Отношения наши становились все более свойскими и дружескими. Иногда появлялись какие-то люди, но он уже теперь берег время для нас, и если кто-то приходил и отвлекал его, он большей частью его все-таки выставлял. Выработался даже некоторый ритуал: мы выезжали из Москвы в 9 часов, приезжали в Обнинск около 12 и сразу завтракали после дороги. Он уже все приготовлял, и кофе, и сыр, и что-то еще. Его фирменное блюдо: сырковая масса с ряженкой и с вином. Очень радушно, очень просто, учитывая, что я что-то не ем, а Марина — наоборот. Ну, вообще, радушным хозяином себя держал, несмотря на то, что, собственно, хозяйскую сторону брала на себя Марина.

Очень мне запомнилось в одной из первых встреч, когда я представил Марину и говорю: «Вот это моя помощница. Также отнеситесь к ней с полным доверием»... Он очень радушно поздоровался, но вместе с тем позволил себе очень симпатичную вольность: взял ее за подбородок, как делают с маленькой девочкой. Я очень хорошо, просто зрительно это помню. А эта «девочка» ловким таким гимнастическим движением как-то изогнулась и выскользнула. И я увидел, что это ему импонировало. С тех пор, прощаясь, он очень сердечно и уважительно целовал руку, и так продолжалось до конца. Вот эта его какая-то немножко медвежья душевность мне запомнилась.

Иногда он грубил, во всяком случае, ворчал. Я иногда чего-нибудь не разбирал, у Марины были какие-нибудь вопросы. Во всяком случае, иногда он так «у-у-у-у» урчал сердито. Иногда это переходило в грубость. И раз или два это меня как-то обидело, оскорбило. Вероятно, он это заметил, а может быть, и нет. Но у меня было впечатление точное, ясное, хотя я не могу сказать как, в какой форме, что, прощаясь, он извинился. То ли это было просто очень крепкое рукопожатие, то ли еще что-то, но, одним словом, был какой-то демарш извинения. Дальше шло все гладко.

Было и так, что меня клонило ко сну во время очень мудрых его рассказов, особенно, если они переходили в специальные лекции. Он этого вроде бы не замечал, он ведь очень плохо видел. Но я потом задавал вопрос, а он: «Синьор, это Вы изволили проспать». Вместе с

тем, на вопросы, которые я задавал, если даже они и уводили куда-то в сторону, он давал большей частью очень развернутые и интересные ответы.

Теперь я расскажу, как мне запомнилось, о том, что в запись первой беседы не попало и до чего мы так и не добрались во всех остальных беседах, что же с ним было, когда наша армия вступила в Германию.

Через какое-то время, видимо, кратчайшее, после того, как наша армия вошла в Берлин, в его институте в Бухе [7] появились советские военные высокого чина, очевидно, МГБ. Поставили там какую-то охрану... Тут он говорил немножко скороговоркой, отнюдь не старался входить в подробности, но иногда они его увлекали. Первые впечатления, о которых он рассказал, были как раз положительные. Помню, он неоднократно упоминал Завенягина как человека, который там появился. Я запомнил это, вероятно, потому, что в 72 году, когда я ездил по Енисею туристом, я был в Норильске. А в Норильске на центральной площади города стоит памятник вот этому «заслуженному чекисту Завенягину», так как Завенягин — строитель Норильска. Та первая партия военных, которая появилась сразу, исчезла. Завенягина срочно отозвали в Москву, и он, уезжая, сказал, что весь институт, как он есть, включая всех сотрудников, в том числе и немцев (это я очень хорошо помню), мы возьмем в Москву.

После этого наступило какое-то затишье. Сколько прошло времени, Николай Владимирович не говорил, но, в общем, по мере того, как армия занимала Германию, военный порядок нарушался. И неожиданно однажды без всякого предупреждения персонально Тимофеева-Ресовского забрали в Москву. Институт, жена, сын, вещи, библиотека — все осталось. Завенягина при этом не было, были какие-то совершенно незнакомые ему военные.

Он попал прямо на Лубянку, и начались допросы. Я нескромный вопрос все-таки задал: «А о чем же, собственно, Вас допрашивали?» — «Ну, чей я „шпиён“». Называли его немецким шпионом и еще называли разные страны. А он в конце концов сказал: «Я шпион Чили». Мне запомнилось это Чили, потому что в то время, о котором он рассказывал (и он сам на это обратил внимание), ответ его, так сказать, подчеркивал анекдотичность вопроса. Чили была тогда совершенно никем не упоминаемая страна. Никаких истязаний к нему не применяли, через некоторое время его оставили в покое, и он сидел на Лубянке. Я не запомнил, к сожалению, сидел ли он все время на Лубянке, или его перевели в Бутырки или в другое место. Потом его отправили в лагерь. Я понял, что куда-то не на север, а на юг, в Среднюю Азию, по-моему, в Карагандинский лагерь. Вот, а теперь ему слово.

ЛАГЕРЬ И «ШАРАШКА»

— А наци Вас не трогали? [8]

— **Н. В. Тимофеев-Ресовский.** Да нет, особенно не трогали. Но во время войны, летом 43 года, был посажен мой сын старший. Так и пропал.

— И без всяких конкретных обвинений? Просто взяли и посадили?

— Нет, с конкретными обвинениями. Он, действительно, возглавлял маленькую группу молодежи, распространявшую листовки в лагерях для пленных и в лагерях для добровольно-принудительных рабочих, согнанных со всей Европы. Он прекрасно владел французским языком, немецким, английским и русским. Переводил всякие военные сводки английские, русские — всякие и распространял. И мы имели о нем сведения до конца 44 года. Можно было посылать ему посылки раз в месяц, и он присылал такую печатную, заполненную от руки карточку о получении, что все в порядке. А потом кончилось, в ноябре 44. Посылки не возвращались, карточки не приходили. И только уже на объекте [9] узнали мы от австрийца одного, что в лагере (а сын

Истории Тимофеева-Ресовского, рассказанные им самим

7 В это время Н. В. был руководителем отдела генетики и биофизики Кайзер Вильгельм института в Берлин-Бухе.

8 Напоминаем, что вопросы принадлежат разным лицам и сохранены лишь для того, чтобы было понятно о чем идет речь.— Ред.

9 Н. В. имеет в виду «шарашку» — институт в Сунгуле.

сидел в Маутхаузене) югославы, болгары и русские — братья-славяне — устроили очень здорово восстание в начале весны 45 года, когда подходили союзники. Но немножко рано. Удалось почти всем заключенным драпануть, но сразу были брошены эсэсовские части, и всех перебили. Так мы толком ничего и не знаем. Но он, конечно, в этом участвовал. Он был активный в этом смысле.

— А он еще учился или начал уже работать?

— Он работал лаборантом в Кайзер Вильгельм институте и учился в университете. И вот занимался этой политикой. Потом выяснилось, что как всегда у них оказался провокатор, который посадил их.

— А вы не знали, что он этим занимался?

— Знал. Я им фальшивые западноукраинские документики на машинке печатал. Каждую неделю подпиливал отдельные буковки, чтобы почерк машинки нельзя было узнать, менял буквы, шрифт.

— А провокатором немец оказался?

— Немец. Русский немец такой, говоривший по-русски молодой человек. А меня посадили наши.

— Как только вошли?

— Нет, нет-нет. Я же был советской военной администрацией посажен сперва директором всего института Буховского... А потом, с одной стороны, приглашали к Орбели, с другой — Завенягин и Курчатов хотели в атомную систему меня забрать с моими старшими немецкими сотрудниками, физиком Циммером, радиохимиком Борном, радиобиологом Качем. Завенягин для меня готовил объект на Урале атомном. А какое-то другое управление НКВД меня посадило. Ну, в конце концов, и Циммер, и Борн, и Кач оказались на уральском объекте, но они были привезены в Москву и полтора года в Электростали ждали, пока меня найдут и вылечат от пеллагры.

— Такая административная неувязочка произошла. По разным ведомствам.

— Да. Это все НКВД, но главки разные. Атомная промышленность — 9-е управление НКВД, а потом МВД. А сажало, я уж не помню, наверное, 1-е, 2-е, 3-е или еще какое. Там «посажено» было много, не мудрено, что я был утерян. Один мой приятель, ему очень повезло, попал в бухгалтерию центральную на Карабасе. Карабас — это железнодорожная станция перед Карагандой, пересылка Карлага. Он рассказывал, что за 1946 год, за один год, в один Карлаг было 989 000 новых поступлений, круглым счетом один миллион. В один только Карлаг. А Карлаг был не самый крупный. Один из крупных, но таких как Карлаг было много. Всего с середины 30-х годов пересидело в лагерях более 40 миллионов людей у нас. Ведь с кировского дела почти половина Ленинграда пересидела. В Ленинграде нет семьи, часть которой не отсидела бы. Вообще масштабы как-то у нас не представляли. И не мудрено, потому что гласности никакой не было, а страх был огромный.

— Значит, Вас цапнули..?

— В 45-ом и почти на два года. Я летом 47 года прибыл на Урал.

— Уже придя в себя или еще нет?

— На лестницу еле мог влезть, потому что ногу на ступеньку следующую поставишь, а подъемной силы нет.

— А Елена Александровна когда Вас после всего увидела? Уже в Москве?

— Нет. Я уже потом ей написал. Она после моего отъезда одно время там директорствовала. А потом Бух был передан в немецкую Академию наук и она стала старшей научной сотрудницей немецкой Академии и доценткой университета. Вела там дрозофильную практику. А потом уже с объекта я ей написал.

— Так что она не знала всей этой истории.

— Не знала. Ну, догадывалась, конечно, через некоторое время. Ей там втемяшивали, что я процветаю в Советском Союзе. Даже ког-

Н. В. Тимофеев-Ресовский. Германия. 1938 г.

да она уже ехала сюда, она позабыла шубу, и по пути на аэродром позвонила, а ее сопровождающий, майор или полковник, говорит: «Что Вы интересуетесь — Вам муж две шубы подарит». А я еще зэком был на военном объекте в это время.

— На Урале на объекте после того как Завенягин Вас вызволил. Вы все еще были зэком?

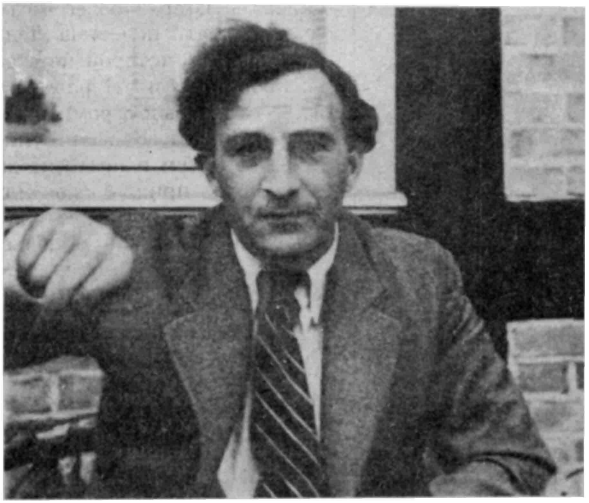
— Да. ОСО-то дал мне десять лет. Все это сняли только после смерти Сталина. Нет, сперва мне давали черт знает сколько дней за день, так что я формально отсидел там за три года или за два года десять лет.

— Так что Вы даже и отсидели официально, юридически?

— Да, юридически отсидел. Я помню в конце 53 года, после смерти Сталина, когда пришло мне снятие судимости, вызвали меня в Касли, там какой-то генерал-лейтенант МВД сидел в кабинете первого секретаря каслинского района, один. Я вхожу, он встает, из-за стола выходит, жмет мне руку, говорит: «Поздравляю». Вручает мне эту бумагу с большой печатью: «Президиум Верховного Совета...» и всякая такая штука и говорит: «Николай Владимирович, будем считать все бывшее небывшим». Я жму ему руку и говорю: «Включая пеллагру, Ваше превосходительство».

* * *

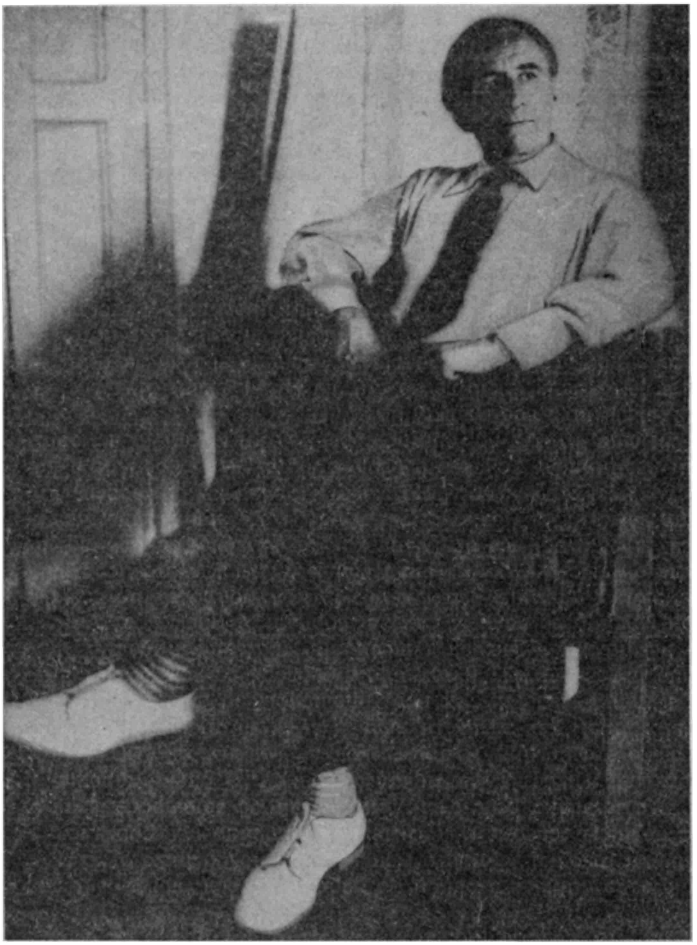
Вот мои первые впечатления в лагере. Нас толкнули в барак, в котором нам полагалось быть, в Самарском отделении Карлага, и тут сразу набросились урки. Был в нашей группе старичок, такой прилично одетый старичок. И на него набросились раздевать, разувать. И на меня накатило. Ну злость накатила такая, что спасу нет. Я, несмотря на то, что на ногах недостаточно крепко стоял, вспомнил все остатки джиу-джитсу, какие знал. Значит, на первого урку просто прыгнул и двумя кулаками ему в морду, в прыжке, вот таким образом: с двух сторон по двум скулам кулаками. Вообще, это штука ужасная. Но я-то был очень ослабши... Он, конечно, свалился без сознания, но ничего, не сдох, слава Богу. Затем я второму в причинное место ногой сразу угодил. Он завыл, как шакал, и тоже бултыхнулся, а остальные разбежались. Потому что, они же трусы, вообще, урки, страшные. И вдруг с единственных в этом саманном бараке нар... А барак был большой, без



окон, а только с проемами оконными, и одни нары там стояли. И вдруг голос с нар: «Ну-ка подойди, браток, сюды». Оказался медвежатник, уркаган. Уркаганом зовется начальник всех преступников. Старик почтенный, интеллигентный вполне, работал при царском режиме медвежатником, т. е. специалист по сейфам банковским. Он, между прочим, участвовал в знаменитом ограблении в 1915 году Харьковского отделения Государственного банка. Там было три млн. золотом взято. Подкоп устроили, а он тогда вскрывал сейфы самые новейшие, английские. Они вырезали замок из сейфа сварочной аппаратурой, несколько модифицированной. Высококвалифицированный специалист. И мы с ним очень подружились. И благодаря этому потом, когда я совсем уже дошел, ни один урка меня не тронул.

А так, вообще, я не шизик, характер у меня не эпилептоидный. Но бывало пару раз в жизни, что на меня накатывала злость. Первый раз это случилось еще во время первой войны на Моховой улице. Был как раз такой час переходный: только что зажгли фонари, сумерки. Несется грузовик и сбивает какую-то женщину. Притормозил, оглянулся, посмотрел и — помчался смываться. И тут на меня накатило. Ах, сукин сын, сбил человека и вместо того, чтобы помочь ему, смывается! Я бегун-то был хороший. Я успел наперерез в зад ему вцепиться, в кузов, и перемахнул в кузов на ходу. А тогда кабинки были открытые у грузовиков. Я, значит, вперед прошел и стал ему сверху морду бить двумя кулаками и орать: «Тормози, сукин сын, а то машину разобьешь и сам убьешься!» Ну, он, конечно, затормозил. А я продолжал его молотить: нос, зубы — все в кровь избил. Потом заставил его, бия без передышки, до ближайшего городового доехать, и сдал его городовому. Не знаю, как сейчас, а тогда за такие вещи полагалось очень здорово, за удирание от поверженного пешехода. Это ж трусость и подлость! Так? А таким людям надо физически морду избить в кровь совершенно. Так же как вот этому самому урке. У него потом два часа изо рта и из носа кровь шла. Между прочим, советую, рекомендую: на первого, который хочет на тебя напасть, просто прыгай — прыжок в длину: головой вперед и двумя кулаками вперед и смыкай кулаки на его морде. Это страшная штука.

— Нокаут?



Н. В. Тимофеев-Ресовский во время работы на объекте в Сунгуле 1949 г. (справа) и 1951 г.

— Нет, это хуже нокаута. Это просто разбитие портретного естества. Уже сравнительно недавно, когда меня отправили лечить почечный камень в Челябинскую областную больницу, такой случай произошел. Но там я, правда, избить не успел. Ну, больница областная советская, переполнена до невозможности, больные лежат в коридорах, кормят их в коридорах же. Посадили меня за столик такой на четыре человека в коридоре: какой-то старичок, старушка и я. Такие довольно древние старичок и старушка. Мы сидим, беседуем: «как здоровье» и пр., и приходит четвертый — урка. А больницы и на Урале, и в Предуралье на треть наполнены урками, порезанными, подбитыми. Особенно по субботам и воскресеньям доставляет скорая помощь этих урок. Они там измываются над врачами, дежурными — черт знает что!

Подходит (а свободное место есть) и этой старушке говорит: «Ну, бабка, смывайся. Я тут хочу сидеть». Та что-то начала: «Ну, что ты, голубчик, вот твое место».— «Не разговаривай! Смывайся, коли тебе говорят!» Вот тут на меня опять накатило. Я встал, ему в морду смотрю и говорю: «Вот кулак видишь? Я не таких, как ты, на тот свет отправлял. Потом несколько таких нелитературных лагерных урковых выражений. Ежели ты отсюдова сейчас немедленно не смоешься, я тебя убью» — и замахнулся. Он как заяц улепетнул.

И тут началось паломничество ко мне медперсонала. Я говорю: «Вот мои коллеги по столу видели: я его даже не успел тронуть — он

убежал. Эту же сволочь напугать надо. Почему вы не сдаете их в милицию?» — «Да милиция не берет их у нас». Это и до сих пор. Милиция, вообще, до тех пор, пока вас не убьют, это не ее дело. Так что их надо испугать. Вот такие случаи бывают. Злость накатится: хамло, сукин сын, сволочь — таких же, вообще, убивать надо. Его надо по темечку бить. Вот это тоже страшное дело: по самому темечку сверху кулаком — дух вон, и лапки кверху.

— Все-таки непонятна власть уркаганов, как они держат. Мощи у них никакой.

— Такая традиция. Никакой у него мощи нет, ничего. Но ему достаточно с выходящим каким-нибудь заключенным передать на волю записочку — всем уркам прекратятся передачи, всем уркам, когда они выйдут на волю, могут ножик под седьмое ребро сунуть. Там совершенно замечательные вещи. Вот в Карабасе обычно помкоменданта был из урок, из таких, у которых скоро кончается срок. Ведь у нас в сталинские времена было замечательно: все эти страшные уголовники, урки, хуже зверей всяких, они редко получали больше трех лет, два-три года получали, иногда пять лет. Потом выходили, полгода, год, смотря как повезет, потом обратно возвращались. Были такие, уже пожилые, что по седьмому разу сидели.

И вот эти помкоменданта — это совершенная сволочь была. Они старались напоследок перед начальством выслужиться, чтобы там отпускные документики получше дали, или вместо минус 100 — минус 60, или вместо минус 60 — минус 25: города, в которых нельзя жить. И их все ненавидели, конечно. И вот за время моего пребывания в лагерях выпустилось, вышло на волю, три таких помкоменданта, и никто из них из Карабаса не уехал. Их выписывали, все обставлялось в достаточной мере секретно. Двое кончили одинаково: в толпе при подходящем поезде сталкивают под поезд, и его разрезает на части поездом. Два так кончили. А третьего ножом зарезали.

— А это не изменяло остальных помкомендантов?

— Ежели человек — сволочь, то он сволочь. У него даже страха нет, он себя изменить не может. Как он есть подлиза, подлец, хам и измыватель над слабыми, так он таким и остается. Это обыкновенно хорошо одетый, откормленный урка... Беззащитных политических разували, раздевали и через ту же охрану барахлишком их торговали, получали 30%, а 70% охрана брала. На этапах, в пересылках тоже урки раздевали и тут же откровенно сдавали вахтеру, вертухаю вагонному, а те на станциях побольше, на толкучке загоняли, приносили ему пачку папирос или еще что-нибудь, остальное себе. Это непредставимые совершенно вещи для вольняшек.

Вот в Петропавловске, недалеко от знаменитого курорта Боровое, тоже была пересыльная тюрьма. Тоже такие бараки были, без стекол в окнах — одни решеточки. И там задержали нам общий паек. Ну, украли. За сутки украло начальство паек. Это сплошь и рядом бывало. В вагонах вообще в лучшем случае мы получали четверть того пайка, который положен. И в тюрьмах то же самое проделывали. Объяснялось это якобы непорядками в бумагах: «На вас документы не пришли». Пойди разбери, пришли на тебя документы или нет. Ну, так уркам не дали суточного пайка. Они попробовали побунтовать. Что там было! Вызвали команду, вытащили их во двор. Мы через решетки все это наблюдали. И как начали прикладами, и как начали. Потом одного за другим бросали обратно в камеру, в изоляционный барак, без сознания, всех в крови. Так-то...

— А Ваш коллоквиум. Это там, в лагере?

— Да-да, да. В лагере у нас был... Но еще на Лубянке я затеял коллоквий. Там Васютинский, профессор, прочел нам курс древних культур.

— От трех свидетелей мы про этот коллоквиум слышали. Солженицын [10] — раз, Каган [11] — два и Малкин — три. Малкин с самого

[10] У Солженицына в «Архипелаге...» несколько рассказов о Тимофееве-Ресовском. Эпизод с коллоквиумом в 75 камере Бутырок в ч. II гл. 4 с. 563—565 / YMCA-Press, Вермонт, Париж, 1987.

[11] Каган В. Воспоминания о Н. В. Тимофееве-Ресовском. «Континент», № 66, Москва, 1991, с. 271—277.

Е. А. Тимофеева-Ресовская. Сунгул. 1949 г.

начала Вас запомнил, потому что когда его втолкнули в камеру, Вы произнесли такую фразу: «Ну вот, малолеток начали брать». И он сидел при всяких Ваших генетических беседах.

— Да. Это математики были, студенты. Они кружок устроили и посели в качестве нищих сибаритов. В лагере-то известен не анекдот, а факт: новенького в барак впихивают, старый сиделец спрашивает: «Сколько тебе дали?» — «Да 25» — «За что?» — «Да ни за что.» — «Врешь, ни за что червонец дают».

А коллоквий у нас был выдающийся. Еще на Лубянке был, потом в Бутырках был, где я с Солженицыным просидел. Он тогда участвовал немножко в нашем коллоквии. А потом был и в лагере. В Бутырках у нас участвовало человек 17. Три попика было — два православных и один униатский. Мы его, между прочим, там окропили и окрестили, обратно приняли в лоно православной церкви: он очень просил. Биолог один я. Четыре физика, четыре инженера, два энергетика и один экономист. Я там читал доклады о биофизике ионизирующих излучений, о хромосомной теории наследственности, о копенгагенских общеметодологических принципах, о значении этих принципов для современной философии онтологического направления, для современной онтологии. Затем, физики читали по своей науке. Из 17 человек живы остались Каган да я.

— Там, где собираются интеллигенты, особенно в таких экстремальных условиях, они немедленно организуют университеты.

— Это обычное отвлечение от неприятностей. Ну так вот, попик-то униатский, которого мы окрестили, очень был силен в патристике. Он нам патристику читал — учение о святых отцах церкви. Очень интересный был курс. А старый православный попик, совершенно замечательный, отец Гавриил, прочел нам три лекции о непостыдной смерти. Почти всем нам это понадобилось потом. Вкратце философское содержание сводилось к тому, что всякие люди начинают думать о смысле жизни и выдумывают обыкновенно всякую чепуху. А смысл-то жизни очень прост — непостыдно умереть, умереть порядочным человеком, чтобы, когда будешь умирать, не было совестно, чтобы совесть твоя была чиста. Совершенно замечательная лекция была. И, наверное, так через недельку он и преставился [12].

Вот так у нас один за другим и умирали. Глядишь — утром уже лежит холодненький. Кагана куда-то перевели, он до конца с нами не был. Из всей этой компании потом я один остался.

— А как Вас переправляли в Москву? Что такое этап в наше время? Это значит — станция — прогон — станция? Или пешком?

— Нет, этап — это по железной дороге, но поезда идут медленно, с караванной скоростью. Ночами преимущественно. Столыпин — это, как известно, реакционер, сукин сын и прочее, он когда-то ввел арестантские вагоны. Теперешние плацкартные и даже жесткие купейные — дерьмо по сравнению со столыпинскими. Там просторные купе на шесть арестантов в купе. Удобно все, просторно, чисто. Но «столыпины», оставшиеся с дореволюционных времен, населяли так: в купе вталкивалось не шесть, а тридцать шесть. Так что я, например, днями висел, не доставая ногами до полу. Не стоял на полу, а висел [13].

Вообще, вы, вольняшки, жизни не знаете. Все эти средневековые какие-то ямы тюремные — это была комфортабельная цивилизованная мура по сравнению со сталинскими лагерями, пересылками и т. д. Каждого, а это трудно было технически, раз в сутки извлекали в уборную. А которых несло и по-маленькому — они под себя делали. 36 человек в купе! Кормили раз в день солеными сырыми ершами. Во-первых, сырых ершей, соленых, костлявых и с колючками жрать крайне трудно. От них пить хочется. А пить давали два раза в сутки по полкружки воды. Понапихано так, что кружка по дороге-то к пьющему разольется, так что по полкружки давали. Первая неделя очень тяжелая: и жрать хочется, и пить хочется, вонища. Но потом привыкаешь. Жрать не хочется. Пить хочется, но не обращаешь внимание. На атмосферу внимание не обращаешь. Когда окажется, что висишь, значит справа покойник, и слева покойник... Так днями между покойниками. Чувствуешь: сначала холодеют, а потом пованивать начинают.

Я не помню, как я доехал до Москвы. Не помню, как меня выгружали. По-видимому, каким-то людям были какие-то изрядные вздрюки, потому что уже помню, приехал я в шикарную больницу МВД на шикарной машине, полуголый, несмотря на зиму: 25 градусов мороза было, а на мне были остатки двоих драных брючек солдатских, летних таких, и подкладка из-под бушлата на голое тело, и опорочки на босу ногу. И все болит, все отмерзает. Язвы замороженные образуются, к штанам прилипают. И это единственное, к сожалению, что я помню. Я помнил еще, что жену зовут Лелька, а как ее имя-отчество — забыл. Как сыновей зовут — забыл. Все забыл. Забыл свою фамилию. Что меня Николаем зовут — помнил, а как по батюшке — забыл.

Последняя стадия пеллагры — удивительно приятная вещь: лежишь, уже есть не хочется, ничего не хочется, в таком приятном розовом настроении, все забывши, мозги чистенькие, свеженькие и пустенькие, а настроеньице этакое розовое. Иногда открываешь глаза... Мне потом врачиха, надо мной главным образом дежурившая, расска-

12 См. «Архипелаг Гулаг» ч. IV, с. 561.

13 Об этом тоже есть у Солженицына. «Архипелаг Гулаг» ч. II, с. 473.

зывала, что глаза открываются тоже так постепенно, медленно, не моргал я ими... Вот откроешь глаза, посмотришь вокруг — радуешься. И единственное, что я не забыл. Где-то, по-моему, у Тургенева в свое время вычитал, что у больных, лежащих долго, пролежни делаются, и что это неприятно. И вот это я почему-то запомнил, и единственное, о чем старался: время от времени перекатываться с боку на бок или со спины на брюхо. И это продолжалось, опять врачиха рассказывала, минуты две-три, с правого на левый бок перевернуться в постели. Медленно, но очень приятно. Ничего не хочется. Время от времени я видел, что со мной что-то делают. А меня, оказывается, интервенозно кормили глюкозой, какими-то аминокислотами и еще какой-то дрянью. Все интервенозно.

А потом постепенно я начал выздоравливать. Сперва память вернулась. Я лежал в палате, где нас было три человека. И когда я стал выздоравливать... Я и в лагере-то, главным образом, на романсах, так сказать, жил. Так я и тут коллегам по палате стал вполголоса петь романсы. И страсть как это мне нравилось. Всякие там и цыганские романсы, и Глинку... Затем оказался один тенорок в палате, он тоже оживать начал и вспомнил, а я ему немножко напомнил, и мы дуэтом «Не искушай» пели. А третий умилялся, слушал. Мы так, вполголоса. А потом оказалось, что он и духовенные знает. Он был человек примерно моих годов. В церковном хору пел. Мы с ним на два голоса «Разбойника благоразумного» разучили и пели. Хорошо. Врачи приходили слушать. Я им сольные басовые исполнял: «Ныне отпущаеши...», «Верую» Кастальского, только без бессловесного хора. Потом я двух своих компаньонов обучил изображать бессловесный хор. Это замечательно, Кастальского, в антидарийском ладу написанная, басовая сольная речитативная «Верую» в сопровождении бессловесного хора. В антидарийском ладу хор, а протодьякон: «Верую во еди-но-го бо-га отца все-держи-теля творца...» Это замечательно. Чаще всего просили спеть последние стихи Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...» Это всем нравилось.

Истории Тимофеева-Ресовского, рассказанные им самим

А. И. Солженицын в гостях у Н. В. Тимофеева-Ресовского. Обнинск, август 1968 г.

Пока я в себя приходил, среди заключенных-интеллигентов набрали физиков, биологов по всему Советскому Союзу. Их привезли в Москву, в Бутырки, и мне они были продемонстрированы как мои сотрудники. Мне ведь была готова огромная лаборатория на Южном Урале, в Сунгуле знаменитом. Прелестная местность! На берегу прелестного озера. Это когда-то был санаторий МВД. Его превратили в атомный объект. Совершенно замечательное было место.

В Москву за мной приехал симпатичнейший старший лейтенант МВД, такой Шванев Валентин Семенович, удивительно милый человек. Первоклассно, свободно владеющий немецким языком. Потом два года мы с Циммером, моим физиком, обучали его уже на объекте, и он теперь блестяще владеет английским языком. С нашей же помощью он сам уже подучился французскому языку. А сейчас он начальник отдела переводчиков в Дубне. Очень симпатичный человек. Он, значит, был послан доставить меня в Сунгул.

Последняя в этой шикарной больнице МВД была комедия, когда я уже стал вставать и учиться ходить. В один прекрасный день стук в дверь, я кричу: «Пожалуйста!», входит какой-то элегантнейший господин — оказывается портной. Просто портной. И меня обшили, потому что я-то был доставлен практически голым, в каких-то грязных ошметках, которые были, наверное, сожжены где-нибудь. И меня с ног до головы одеть надо было. Мне этот элегантный господин, значит, сшил костюмчик, пальто сшил демисезонное. Плащ мне летний купили готовый, по мерке. Затем белье мне сшили, шикарное белье. Никогда у меня такого не было. Затем несколько пар приобретено было трусов, носки всяческие, две пары башмаков, черные и рыжие. Что же еще было замечательного? Да, мне приобрели шляпик, шляпу, очень хорошую, опять все этот портной покупал для меня, и кепку, чтобы и на советский манер, и на европейский, потому что там меня ждали, оказывается, уже иноспециалисты, австрийцы и немцы, приглашенные на этом объекте работать.

— На военном атомном?

— Да нет, военных атомных и не было никогда. Это была атомная система, которая началась с 9-го управления МВД, потом разрослась и стала Первым главным управлением при Совете Министров и, наконец, стала Средмашем, Министерством среднего машиностроения. И так до сих пор атомная система и живет в Средмаше.

— Но Вы считались все-таки заключенным?

— Зэком, да, несмотря на портного, несмотря на шеф-повара, несмотря на то, что мне было подчинено около полусотни советских вольняшек, вольных дяденек и тетенек, и около 15 иностранцев. Но было совершенно замечательно. Жили мы, как у Христа за пазухой. Прекрасная лаборатория. Прекрасный этот санаторий. Трехэтажный отдельный корпус с высокими большими комнатами, такая коридорная система: сначала комната, потом на каком-то расстоянии значит, уборная, рядом, отдельно конечно, ванная и всякая такая штука.

Первое время никто на знал: что же мне — надо жалование платить? До этого директор объекта, полковник МВД Уралец Александр Константинович, очень милый человек, старый чекист дзержинских времен, очень хороший человек, мы с Лелькой с ним дружили до последнего времени. Вот последние два года я у него не был, а то каждый год по нескольку раз в Москву к нему ездил поужинать, коньячку попить, водочки, потрепаться... очень хороший человек был. Он мне сказал: «Знаете, я не знаю и ни от кого не могу добиться, как отрегулировать Ваше финансовое положение. Поэтому пользуйтесь: сейчас у меня практически для Вас открытый счет. Ну, теоретически, конечно, какие-нибудь пределы есть, но все, что Вам или Вашей жене будет нужно, когда она приедет (она еще не приезжала тогда, она приехала в сентябре месяце, а я в мае), то скажите мне — все будет. И когда Вам что-нибудь понадобится, можете в Челябинск,

в Свердловск съездить. Конечно, в сопровождении Валентина Семеновича Шванева или подполковника Верещагина. Потом уже Шванев сопровождал более низкую братию, а меня сопровождал как раз подполковник Верещагин, с которым даже анекдот произошел и мне, еще зэку, пришлось его выручать из комендатуры.

— Фантастическое что-то.

— Вообще все это фантастика. Ну, и осенью, в сентябре, пришло письмо от Елены Александровны из Берлина. Сперва ей про меня чушь рассказывали, что я тут процветаю.

— Когда Вы умирали?

— Да. Когда я сперва неизвестно где был, а потом умирал в больнице. А потом сообщили более или менее конкретно, что вот «не желаете ли к нему уехать»? На что Елена Александровна сказала, что очень желает, но только к мужу, а не куда-нибудь. Они сказали: «Да-да, да-да, Вы можете ему написать. Мы перешлем. Мы сами тоже адреса не знаем. Он в атомной системе, совершенно секретной, но мы вот перешлем». И я получил от Елены Александровны письмо, где она спрашивает, что со мной. Все это описывает и говорит, что предлагают приехать. А я-то после Лубянки, да лагеря, да больницы попал, ну, действительно, как в рай, в этот Сунгул. Я и написал, что я живу, можно сказать, в раю. Так я никогда в жизни не жил, конечно, приезжай с Андреем. И что пусть Царапкины приезжают, не сомневаются. Очень хорошо. До того хорошо, что даже и описать невозможно: изумительное озеро, вокруг скалы и тайга, и всякая такая штука, и замечательная квартира у меня, места сколько угодно. Сейчас предлагают три комнаты огромных в этом бывшем санатории, а ежели захотим больше, можно и больше. И передал Уральцу. Уралец еще кому-то передал. Одним словом, до нее дошло, и через некоторое время я получил уведомление, что она приедет в начале сентября, а потом телеграмму из Москвы, что едет. Причем их везли шикарно: все мои оттиски, библиотека — все это привезли за казенный счет. В один прекрасный день появились там у Лельки в Бухе какие-то солдатики, ящики, все упаковали.

— У Вас сохранилась библиотека, которая была у Вас там, в Германии?

— Часть, бóльшая, русских книг пропала, потому что просто украли: какие-то господа офицеры приехали на машине в один прекрасный день, Лелька не успела институтскому коменданту позвонить, советскому, и просто забрали себе в полковую библиотеку русские книги, сколько смогли. А так все остальное, всю научную библиотеку полностью, без всякой цензуры привезли.

Вот в один прекрасный день они приехали. Мы с Шваневым и с Верещагиным на двух машинах встречали и как-то проворонили их на аэродроме. А они опять-таки с сопровождающими господами официальными из Москвы. Мы сообразили, что не совсем же дураки офицеры МВД. Наверное, их повезли на вокзал. По железной дороге можно было подъехать ближе в Сунгул, чем из Свердловска. И действительно, приехали мы на вокзал — куча вещей, и наши все цепочкой вокруг вещей расставлены, и два офицерика командуют. И все их уговаривают: «Вы только, ради Бога, далеко не отходите. Это Вам не Берлин: сопрут мигом.» Тут оказывается, что директор объекта снабдил Верещагина большим количеством денег, чтобы в аэропорту или на вокзале небольшой банкет устроить, угостить и офицеров, которые их привезли, и всех приехавших.

— 47 год. Мы тогда голодные были еще.

— Я-то был пресыщен, а эти были совершенно голодные, приехали с довольно подтянутыми животами из Германии.

— И при всем том Вас не расконвоировали?

— Нет, конечно, не имели права, потому что я еще был заключенный. Так вот, этот подполковник Верещагин, я как-то уже отвык от всех этих дел, отправился к директору вокзального ресторана и, дей-

ствительно, заказал такой обед, шикарнейший, с водочкой, закусочкой, с винами, как следует, черте чего там только не было.

Надо сказать, что когда я на объект приехал, еще карточки были. И мне полагалось по карточкам килограмм мяса в день, полкило рыбы в день, 125 граммов сливочного масла, поллитра сметаны, сколько-то там сливок, шоколад, какие-то крупы и т. д. Действительно, фантастика. Совершенная фантастика. Причем вскоре после моего приезда, мне было очень неприятно, я потом старался все это уладить, меня начали закармливать. Я, значит, утром, проснувшись, ел хлеб с чаем или крепким кофе, потом завтракал, иногда опять кофе со сливками и что-нибудь там... яичницу с ветчиной или еще что-нибудь такое, бутерброды с сыром и прочее. Я для смеха как-то вспомнил англичан. В Англии я всегда поридж жрал утром, овсянку сиречь, и потребовал себе овсянку. Дали овсянку. Потом в 11 часов мне специально давался салат из редьки, редиски и еще каких-то трав с аккуратными кусочками масла. Уж не помню, что-то к этому еще полагалось, не то молоко, не то простокваша, не то варенец. А потом уже был в час обед шикарнейший, обширнейший. И вот вдруг выяснилось, что мне что-то не додали. Кто-то из кухонных баб проворовался или две бабы поругались, друг на друга донесли, что, вот, от Тимофеева она жрет столько-то, а мне дает только столько-то. Дуры стали перечислять, что от моего пайка жрут там на кухне. Господи! Что тогда Уралец сделал! Разогнал всех их к чертям. А тогда работать у нас на объекте каждому человеку было счастье, потому он со своими чадами и домочадцами был сыт.

Когда приехали все мои и Царапкины, у них никаких карточек не было, оформлять их надо было. Не так это быстро делается даже в атомной системе МВД. И они в течение нескольких недель все на мои карточки жили. Этого на всех хватало.

Еще через некоторое время, в декабре, появились мои немцы. Когда я туда приехал, там уже немцы были, но не из моих, а набранные в мою лабораторию. Вот явились мои основные сотрудники, пять человек...

— Значит, это можно было сделать безболезненно: просто вас перенести полностью — это прошло?

— Да. А перенести полностью было очень просто, потому что мы все решили перенестись. Все мои основные сотрудники употребили, так сказать, всяческую ловкость и усилия для того, чтобы не быть эвакуированными на Запад из Буха.

— Хотели в Советский Союз?

— Да, хотели.

— Значит, приехали по своему желанию Ваши сотрудники, в том числе и немцы следовали за Вами? У Вас страшная сказка, но с хорошим концом.

— Вообще-то с хорошим концом, конечно, хотя «хороший конец» — все это относительно. Ведь, понимаете, с нашей точки зрения, российской да советской — хороший конец. Но ведь все эти мои немцы, да и прочие, там еще человек двадцать было — это же европейцы. Они не были никакими заключенными... Они по договору, специалисты. До 52 года включительно у них был договор. Они получали колоссальное жалование. Риль, который приехал к нам с высоким званием научного консультанта всего объекта нашего, он получал (деньги были старые и цены были старые) 12 тыс. в месяц. А обыкновенные научные работники, немцы и австрийцы, получали 6 тыс. в месяц. Я точно знаю, что 12 тыс. была зарплата министров высокой категории: СССР, а не РСФСР, и не всех министерств. Как раз министр Средмаша получал 12 тыс. Это были огромные деньги. А Николай Васильевич Риль, не знаю, был ли второй, он, по-моему, единственный иностранец — Герой Социалистического Труда. Он получил три Сталинских премии и одну премию Средмаша. Ему была подарена машина, «Победа», такая шикарная, особая «Победа». Он был миллионер с хвостиком. Так его и дразнили миллионером.